
Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ВОЗВРАТНАЯ ГОРЯЧКА

Рассказ

Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает...

Н. Некрасов. Рыцарь на час

Болезнь называлась «возвратная горячка». Ранней весной тысяча восемьсот шестьдесят пятого года ею заболела жена Павла Васильевича Анненкова — Глафира. Пользовал ее сам доктор Боткин, незадолго до того открывший эту болезнь, ранее не различаемую от тифа, указавший на ее эпидемию в Петербурге и описавший в своем только что появившемся «Эпидемическом листке».

Шел десятый день болезни, доктор Боткин, приезжавший ежедневно к вечеру, по окончании работы в клинике Шипулинского, отошел от постели больной и направился к супругу, с помертвелым лицом ожидавшему его в дверях жениной комнаты. Подхватив обширного телом Анненкова под руку, врач повлек его на диван в гостиной. «Как она, Сергей Петрович?» — губы Анненкова дрожали. «Не скажу, что все кончилось, — сказал врач, снимая очки и протирая их суконой тряпичкой, — но улучшение определенно есть... и даже, — он помедлил, словно взвешивая, говорить или не говорить, — и даже, я бы сказал, наступил перелом. Температура спала, больная не бредит, головные боли ее больше не мучают. — Он помолчал. Супруг стоял ни жив, ни мертв. — Что осталось? — сам себя спросил врач и сам себе ответил: — Слабость. Не может открыть глаз. Поднять руку... Но я назову вам верное средство, — он повторил, — верное средство, — и пристально взглянул на Анненкова, внимавшего ему с полуоткрытым ртом. — Хотите узнать какое? — И он громко и отчетливо произнес: — Куриный бульон. Крепкий куриный бульон. Прикажите кухарке готовить каждый день, чтобы свежий. Ну и вообще... кормите супругу, Павел Васильевич, — исхудала».

Анненков, измучившийся за эти дни и сбившийся с ног, просял, расплылся в улыбке, захватившей все его широкое крупноносое лицо, в глазах проступили слезы.

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор интернет-журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах «Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс» (2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик» (2014), «Афинская школа» (2017), «Мария Маркович и Иван Тургенев. История отношений» (2017). Лауреат премии журнала «Нева» в номинации «критика» за 2015 год. Живет под Вашингтоном.

— Спасибо, Сережа! Ты, право, волшебник. Ты, это, оставайся, пообедаем вместе. Выпьем за здоровье больной.

— И рад бы, Павел Васильевич, да дома жена на сносях, с обедом поджидает.

— Когда думает рожать?

— Да месяца через два. Уже и имя придумали — Эжен, то бишь Евгеша¹.

— А вдруг девочка?

— Тогда тоже Евгеша, да непохоже, что девочка. Жена бы радовалась, все же два мужичка у нас уже имеются, Сергею шесть лет, Петруше четыре года.

— Не хотел, стало быть, сына назвать в честь Василия Петровича, отца тебе заменившего. Мы с Василием, старшим твоим братом, — ровесники, люди сороковых годов, с Белинским начинали. Идеалисты, мечтали о переменах в стране. Крепостничество, деспотизм... Тогда казалось, никогда перемен не будет. Не ждали, что сверху начнется. Да и сложилось у всех по-разному. Кто, как Виссарион, как Тимоша Грановский, уже в могиле, один в тридцать семь, другой в сорок два года, кто, как Тургенев, обретается за рубежами и оттуда рецепты присылает в своих романах, а кто, как Василий Петрович, твой брат, во всем разуверился и живет до истечения жизненного цикла, удовлетворяет свои гастрономические предпочтения... — Анненков говорил — и не мог остановиться. Внутри словно открылся фонтан, требующий выплеска. В таких волнениях провел он эти полторы недели, такие жуткие картины себе рисовал, видя безжизненное, страшно похудевшее тело своей Глафиры, из которой словно вампиры высосали все жизненные соки, что теперь воистину наслаждался, выговаривая человеческие слова. — Мне сейчас пятьдесят два, но я, правду скажу, не весь порох растратил, еще проживем, все же переживаем мы момент исторический... Манифест, реформа. Пытаюсь не отстать от жизни, в комитетах участвую... опять же, жена молодая... Нужно соответствовать. — Он остановился, тряхнул головой, словно прогоняя наваждение, и предложил совсем другим, ласково-умильным тоном: — Чаю выпьешь со мной, Сергей Петрович? Ты же после работы приехал. Не отказывайся.

— Что ж, от чашечки не откажусь.

Хозяин вышел распорядиться, вернулся со счастливым лицом: «Спит моя Глафира, а я уже и кухарке наказал насчет куриного бульона». Слуга принес две чашки, кипяток, заварной чайник, кусковой сахар, вазочку с круассанами. Хозяин прищурился:

— Эх, Сергей Петрович, не Боткина мне чаем угощать, у вас в доме небось ты таких чаев накушался... Но круассанчик рекомендую. Мы, видишь ли, с Глафирой Александровной всего-то месяца четыре как вернулись из путешествия по Европам. Берлин, Италия, Швейцария, Лазурный берег, Париж. Мне-то не впервой, а жена была в потрясении. Там и к круассанам пристрастилась. Теперь их наша кухарка каждое утро выпекает, — И заметив, что гость все время молчит и в разговор не вовлекается, тихо спросил: — Как ты обо всем этом думаешь, Сережа?

— Об чем, Павел Васильевич?

— Ну... обо всем. Что присходит...

— Если вы о политике, то я об ней, честно скажу, давно уже не думаю. Идет как идет. Вижу, что народ наш, бедный, в своей тяжбе с государством всегда в проигрыше, его, горемычного, за громогласно провозглашенную свободу заставили денежки заплатить, как это не увидеть? но помочь я ничем не могу. Делаю свое врачебное дело. — Он поднял глаза и посмотрел на собеседника. — Я, Павел Васильевич, не Базаров тургеневский и в споры на политические темы стараюсь не вступать.

— Хорошо, Сергей Петрович, про политику не будем. — Анненков улыбался, ему понравилась отсылка Боткина к Тургеневу, давнему и милому сердцу другу. — А про

¹ Евгений Боткин (1865—1918) вырос, стал, как и отец, врачом, служил лейб-медиком у Николая II и его семьи. Расстрелян вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. Посмертно причислен к лику святых-страстотерпцев.

горячку возвратную, что налетела на Петербург, как думаешь? С чего вдруг жена моя ее подхватила? Живем скромно, одеваемся тепло, едим избранно, откуда на нее такая напасть?

Боткин уже закончил чаепитие и, стоя, вытирал губы, стряхивая крошки с усов.

— Благодарствуйте, Павел Васильевич, за чаек, действительно, чисто французский круассан, я ведь тоже, в Париже будучи и посещая физиологическую лабораторию профессора Бернара, к ним пристрастился. Отличное было время! Вы когда из заграницы вернулись? В ноябре? После берега Лазурного, после италийского благорастворения воздушных прямо в нашу темную ночь, в сырость и грязь петербургскую? Организм наш, Павел Васильевич, на все реагирует, а на такие встряски особенно. Глафире Александровне, по всему видно, теплый климат потребен, солнце, свет...

Доктор собирался откланяться. Анненков, неуклюже поднявшись из-за стола, подошел к нему бочком, он заметно волновался, шея его побарговела:

— Вот еще, Сережа, что хотел спросить. Мы с Глафирой Александровной женаты четыре года, уже не молодожены, но вроде того... Все думаю насчет деток, не повлияет ли эта холера на возможность иметь потомство?

— Не волнуйтесь, Павел Васильевич, будут у вас детки в свое время, и горячка тому не помеха. Больше радости, веселья, тепла, с мая прогулки на природе, ну и, конечно, полноценное питание. Помните про куриный бульон!

И доктор Боткин, выхватив из рук слуги свой плащ и цилиндр, стремительно выбежал из дверей.

* * *

Павел Васильевич подошел к постели жены. Ночная сиделка, примостившаяся было возле кровати со своим вышиваньем, тактично отошла в сторонку. Рука Глафиры белела поверх одеяла, он осторожно взял ее маленькую ладошку в свои, медвежьи. Жена тихо вскрикнула: «Павлуша, ты?» — «Я, Глафирушка. Как ты? Доктор сказал, что наступил перелом, стало быть, болезнь уходит». Глаз она не открыла, но в лице уже не было привычного страдания. «Я чувствую, что уходит. Голове стало легче, и сознание проясняется, уже не бред, а картины разные. Помнишь, Павлуша, Туровку? Мне все мерещится, как мы с тобой по степи гуляем, среди поля розовых маков... — Она остановилась — речь была ей трудна — и добавила: — Ты, Павлуша, сходи погуляй. Что ты все время возле меня... А я полежу, мне сейчас точно легче».

Анненков отдал распоряжение насчет больной, оделся, взял извозчика и коротко приказал: «На Фонтанку, к Симеону». Степенный бородатый извозчик в широком синем кафтане понятиливо кивнул и стегнул лошадей. До церкви Святых Симеона и Анны было недалеко, и весь недолгий путь Анненков наслаждался ездой, жадно вдыхал промозглый и острый весенний воздух. Впервые за время болезни жены он вылез из дома, впервые мог распрямиться и свободно вздохнуть, радость от мысли, что жене полегчало, его переполняла. Сегодняшний вечер, думал Павел Васильевич, он может себе позволить пообедать в клубе.

В Английском клубе, где он не был целую вечность, его знали и привечали.

* * *

Он всегда чувствовал себя немного «чудовищем». Когда лет семь назад прочитал аксаковскую сказку «Аленький цветочек», узнал себя в заколдованном мохнатом чудище. Толстый, неуклюжий, не знающий, куда деть руки, с какой-то бесформенной

фигурой. Тургенев звал его «четвероугольный», считая, что даже деревья в его симбирском имении должны быть ему под стать, четверугольные. А он обижался, внутренне возражая, ну да, «четвероугольный», но это на первый взгляд, на взгляд человека стороннего. А ты загляни внутрь, посмотри, что там в области сердца, сколько таится нежности и доброты. Так бы, наверное, и прожил жизнь нерасколдованным, с замороженным сердцем, да и были примеры: оба брата оставались холостяками во всю жизнь, но Господь смилостивился, послал ему девушку, которая его поняла и полюбила, полюбила такого, каким он был, со всеми странностями и привычками, накопленными за сорок восемь лет холостой безбытной жизни.

По случайности свел их все тот же Тургенев. Повез приятеля в один знакомый дом, где собирался тесный круг людей, связанных родством и дружеством. Это были петербургские малороссы, кто-то из них оказался здесь не по своей воле, был сослан за причастность к тайной организации и за крамольный род мыслей, включающий национальное освобождение их родины, кто-то сам переселился из своего уездного городишки или дремучего села в Северную столицу в поисках карьеры и новых впечатлений. Завсегдатаем здесь был Тарас Шевченко, которого в то первое посещение, так запомнившееся Анненкову, как раз не было. Но была Мария Маркович, русская, из-под Орла, впитавшая малороссийский фольклор и написавшая под псевдонимом Марко Вовчок серию национальных рассказов; Тургенев, не без помощи своих здешних приятелей, перевел их с мовы на русский. Книга недавно вышла и вызвала всплеск эмоций со стороны как русских, так и малороссов. Анненков видел, что Тургенев увлечен и самой молодой писательницей. Едва представив Павла Васильевича хозяйке салона, приветливой хлопотливой женщине лет тридцати, он по своей хорошо знакомой его другу давней привычке мгновенно улетучился. И потом Анненков мог видеть его исключительно возле Марии Александровны Маркович, по-видимому бывшей центром притяжения для всего здешнего мужского элемента. Она стояла в кружке мужчин, стройная, со светлой косой, венцом легшей вокруг головы, и что-то оживленно рассказывала звонким голосом с вкрадчивыми малоросскими модуляциями. Анненков расположился в сторонке, наблюдая гостей, в особенности женщин. С женщинами с молодости обходиться он не умел, боялся их и робел перед ними, словно были они особой, неведомой ему человеческой породой, однако при этом каждую пытался примерить к себе, в смысле «подошла бы мне или нет». Повелось это с юности, но вот до сих пор, до самого что ни на есть критического возраста — все же сорок шесть лет — ни одна ему так и не подошла. Он уже и смирился, что, как и братья Иван и Федор, останется холостяком, а все же, стоя на отдалении, с особым пристрастием рассматривал дам.

Внимание его привлекла сцена, развернувшаяся невдалеке. Еще подъезжая с Турганевым к дому Карташевских, Анненков заметил, как из соседнего экипажа выпрыгнул молодой человек, с иголки одетый, и, небрежно с ними раскланявшись, устремился в ту дверь, куда они зашли несколько погодя. По ухваткам был он чиновник какого-нибудь важного столичного департамента, типа финансового, держал себя самоуверенно и даже несколько развязно, по-видимому, решив, что его положение дает на это право. Хозяйка, заметив «нахала» (так окрестил его Анненков) около себя, подхватила его под руку и подвела к девице, стоявшей у стенки и явно скучавшей. «Знакомьтесь, Иван Александрович, — донеслось до Анненкова, — Глафира Ракович, моя строгая тетушка». «Не иначе, женишка девице представляет», — подумал Павел Васильевич, глядя в умненькое, серьезное личико девицы, которое как будто когда-то уже видел. Женишок же, или «нахал», по определению Анненкова, не нашел ничего лучшего, как в голос рассмеяться: «Не шутите, Варвара Яковлевна, какая тетушка? Вы хотите сказать — племянница?»

Тут уж рассмеялась Варвара Яковлевна, но смехом слегка нервическим: «Полно те, Иван Александрович, не настолько же я стара! У нас разница с Глафой всего-то один год, и тот не полный. Глафира младше меня на год — и она действительно моя тетя, а я ее племянница». По-видимому, загадки родства были за пределами понимания «нахала», он осклабился, согнулся в поклоне и попытался поцеловать ручку девицы. Но та, густо покраснев, ее отдернула. Возникла неловкость, которую хозяйка решила замять вопросом к гостю:

— Знаю, Иван Александрович, что вы на водах в Карлсбаде встречались с моим братом. Как его здоровье? Он жаловался в письмах на кашель.

— Да плохо, — отвечивал «нахал», — одна слава, что воды целебные. Брат ваш кашляет по-прежнему, не чахотка ли у него?

Варвара Яковлевна изменилась в лице.

— Бог с вами, какая чахотка! Да и чахотку нынче лечат. Может, ему отправить бергамотов французских? Я слышала, прекрасное средство против чахотки, главное — природное. — И она обратилась к девице, про которую все временно забыли: — Ты, Глафа, недавно с Полтавщины. Растут у вас в имении бергамоты?

— Растут в теплицах. Но против кашля их нужно много съесть, штук двадцать.

«Нахал» снова не мог удержаться от смешка.

— Помилуйте, кто же может съесть двадцать бергамотов?

Хозяйка, желая снова снять неловкость, мирно заключила:

— Ну, двадцать не двадцать, но я слышала, что много.

Анненков подумал, что если девица не отступит, он обязательно к ней подойдет и познакомится. И почти против воли услышал:

— Да их легко есть, они маленькие и кисленькие, наподобие лимона, но не такие резкие. Не меньше двадцати, иначе кашель не пройдет.

Почти сразу после этих слов Варвара Яковлевна увела своего гостя — для представления прочим завсегдагатаям гостиной. По-видимому, она уверилась, что тот фрукт, который являет собой ее тетя, не для него. На их месте, подле молодой особы, как-то само собой оказался Анненков. Пушкин, к которому Павел Васильевич со времени своего корпения над его тетрадами² относился по-родственному, в таких случаях употреблял слово «нечувствительно». Анненков нечувствительно оказался против странной девицы и нечувствительно завел с ней разговор. Впоследствии он даже не мог вспомнить, о чем они говорили, но впечатление от этой встречи было так сильно, что, приехав тем вечером домой, он долго сидел на постели без движения. Силы его покинули. Он был потрясен, ошарашен, сбит с ног. И это было началом той двухлетней эпопеи, которая в конце концов завершилась венчанием в Исаакиевском соборе двадцать шестого февраля тысяча восемьсот шестьдесят первого года.

* * *

В клубе все было по-старому. Обслуга, знавшая Павла Васильевича, кланялась и расплывалась в улыбках, завсегдагатаи радостно кивали, многие подходили поздороваться и перекинуться словом.

Подбежал один из знакомых комитетчиков, что-то затараторил о насущных нуждах... Анненков слушал вполуха, он поймал себя на мысли, что все связанное с его работой в различных комитетах сейчас отошло для него на второй план. Его женитьба совпала с подъемом дремавших в обществе сил, пробужденных реформой, дарованной

² Павел Анненков — первый биограф Пушкина («Материалы к биографии Александра Сергеевича Пушкина», 1855), он издал Собрание сочинений Пушкина в семи томах (1855—1857), ему принадлежит труд «Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху» (1874).

царем народу. И в обществе, да и в Анненкове, поначалу было много энтузиазма, желая реформу подтолкнуть, помочь обеим сторонам — крестьянам и помещикам — в их новом положении. Однако дело шло туго. Крестьяне бунтовали, видя, что земля остается у помещиков и им придется платить за земельный надел. Начались студенческие бунты против «грабительской реформы». Верное своим привычкам, правительство на крестьянские и студенческие бунты отвечало жестокими расправами: казнями, крепостью, ссылкой... Получалось, что реформа внедрялась с помощью кнута. И крестьяне так ее и воспринимали — как очередной рекрутский набор, как ссылку в Сибирь или на Амур. Приехав сразу после женитьбы в родное Чирьково под Симбирском, Павел Васильевич увидел совсем не «счастливых поселян». Мужики смотрели исподлобья, как люди, которых обсчитали. Пыл Анненкова поугас. Его внутренние силы перенаправились с общественных нужд на семейные. Болезнь Глафиры ускорила этот процесс.

Комитетчик, не встретив внимания, отошел. А Павел Васильевич медленно последовал в уединенный уголок обширного ресторанный зала, полуотгороженный китайской ширмой, и приказал человеку принести себе кушанья и шампанское. Он заказал стерляжью уху, жаркое из дичи и на сладкое свежую клубнику со сливками. Пока ждал заказ, мысли сами собой вернулись к прошедшему. Сегодня в разговоре с Боткиным назвал он нескольких друзей-приятелей, сверстников, с которыми шел по жизни. Двоих не упомянул. И не потому, что ушли из памяти. Он сам вычеркнул их из числа друзей — как не было. Сильную обиду нанесли, не оба, один из них, тот, кто верховодил в этой паре, — Герцен. Павел Васильевич был человеком добродушным, хоть и с некоторой хитрецей, друг Тургенев часто говорил об его «степном лукавстве», но в чем никогда не был замечен, так это в прощении обид. Не пустеньких обидок, на которые взрослый мужчина не обращает внимания, а обид настоящих, корневых, проходящих по самой твоей середке. Такую обиду нанес ему Герцен в своем письме. И случилось это — как и положено для таких дел — в самое счастливое для Анненкова время, когда со своей Глафирой как молодожен развезжал он по Европам. В такое время трудно застать человека его корреспондентам. Но Герцен сумел — застал, написал на гостиничный адрес в Милане, прямо в разгар их с Глафирой бултыханий на озере Комо.

Клубный подавальщик, лет более тридцати, но расторопный и легкий на ногу, поставил на стол уху в чугунном котелке и плетеную корзинку с караваем только что испеченного ржаного хлеба, его здесь полагалось не резать ножом, а рвать руками. Подавальщик был знакомый. Анненков к нему обратился: «Здравствуй, Петр! Как у вас дела идут?»

Тот не спеша проговорил: «Не шибко идут, Павел Васильич». — «А что так?» — «Давно вы у нас не были, Павел Васильич, за это время кое-что поменялось». — «Что, например?» — «Да господа... вы только на свой счет не примите... помельчали господа, многие с гнильцой. Ни выпить, ни съесть нормально, алкоголь с ног сшибает, гниль, одно слово. А мошенников развелось! Давеча, слышно, у нас в карты один генерал проигрался, так наотрез отказался платить, и как сказывают, вовсе он не генерал, а самозванец». Подавальщик покачал головой, хитро посмотрел на Анненкова и отправился за жарким.

Анненков тем временем прикончил уху и принялся за принесенное — с пылу с жару — жаркое. Еда казалась ему необыкновенно вкусной, он запивал ее шампанским — и оно тоже казалось отменным. Увидев Петра, несшего ему десерт, он продолжил свои расспросы: «А какая причина... этой гнили, как ты думаешь?» — «Да и думать неча, трещина по стране прошла, сами знаете какая. Опять же, англичанка гадит, как без этого?» — и снова взглянул с хитрецей.

Анненков вынул из портмоне купюру, протянул подавальщику. «Помню, ты был неженатый, а как теперь? Небось женился, деток нарожал?» — «Никак нет, Павел Васильевич. Тут в городе и жениться не на ком, одно баловство. Я за женой в деревню поеду, но нужно сначала денежку прикопить, время мое еще не пришло».

Клубника была сладкая и сочная, сливки густые, обед явно удался. Разговор с Петром прервал его мысли, но ему хотелось додумать, довоспомянуть, вытащить свою обиду на поверхность, чтобы ее изжить. Он пил шампанское и вспоминал.

* * *

С Герценом он пересекался многожды. Люди одного поколения, рожденные в победном тысяча восемьсот двенадцатом, были они сверстниками и даже поначалу единомышленниками. Поездив по границам, повидав мир, Анненков не мог не видеть отсталость России, необходимость для нее большей «цивилизованности», которая еще с петровских времен шла с Запада. С другой стороны, и Герцен, и он были патриотами; в те давние тысяча восемьсот сороковые, когда разгорались в их кругу жаркие дебаты о будущем родины, — и они, и Хомяков с Костей Аксаковым, причисленные впоследствии к партии «славянофилов», видели в русском народе крепкое ядро, самобытность, огромный запас нерастрченных сил. Все ратовали за то, чтобы эти силы высвободить, то есть освободить народ от крепостного ярма.

Почему-то вспомнился один эпизод. Году в тысяча восемьсот сорок пятом это было, в деревне Соколово, что верстах в двадцати от Москвы. Собрались на «Герценовой даче». К ее обитателям, герценовской семье, состоящей из самого Александра Ивановича, Натальи Александровны и их двоих маленьких детей, Коли и Таты, обычно присоединялось большое число гостей. Впрочем, там же, на даче, на все лето обосновались и Николай Кетчер, товарищ Герцена по университету, и Михаил Семенович Щепкин, великий артист, не столь давно похороненный на московском кладбище. Да, из той когорты нет уже и Грановского, великого историка, лежат они на Пятницком со Щепкиным рядом. А тогда, в Соколове, ранним летним вечером Щепкин вдруг надумал спеть для хозяев и гостей народную песню. Свадебную, да еще от лица невесты. Всей компанией, человек в десять, двинулись к берегу речки Сходни, протекавшей поблизости. Солнце садилось, вечерело. Вышли на луговой простор, вид был... таких нигде за границей не найти, чисто русский, заросший травой берег, васильки, редкие березы, а на той стороне до горизонта заливные луга.

Михаил Семенович остановился подле березы, обхватив ее ствол, и начал тихо-тихо, тоненьким дрожащим фальцетом, как девушка, которой до невозможности страшно: «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» В сущности, слушатели эту песню знали. Но было интересно, как ее «сыграет» большой актер. В ответ на вопрос дочери густым своим голосом, голосом Фамусова и городничего, ровным и уверенным, вывел он ответ матушки, успокаивающей свое дитяtko, предчувствующее беду: «Не бойсь, не выдам». Страх девицы все нарастает, а матушка все повторяет привычные успокаивающие слова: «Не бойсь, не пужайся». А под конец, когда уже голосок девический замирает и обрывается от ужаса и понимания, когда страшная реальность уже прямо перед нею, матушка тем же покойным голосом завершает предательство: со словами «Господь с тобою» отступает от своего дитяти и отходит в сторону. Трагическое было исполнение. Слушатели были потрясены. В глазах Герцена стояли слезы. Он бросился к Михаилу Семеновичу, вытирающему платком мокрый лоб, затряс его: «Это же Россия, Михал Семеньч, это она — наша матушка, выдающая своих детей на закляние!» Все, кто был рядом — Тимофей Грановский, Кетчер, Аксаков и он, Анненков, — сгруппировались вокруг трагика, кто молчал, потрясенный, кто что-то кричал, давая

волю чувствам, хорошая была минута: минута, когда все сердца бились заодно, когда каждый из присутствующих осознавал себя частью великого братства, братства людей, верящих, что и от них будет зависеть судьба родины.

Сегодня он, Анненков, задумался бы о другом. Почему свадебная песня, сложенная в народе, так страшна, не потому ли, что страшна участь, ожидающая несчастную девушку? И главное в ней — отсутствие воли, полное подчинение мужу и свекрови. Русская баба — раба в семье. Раб мужик отыгрывается на своей бабе... Путешествуя по Европам, он видел, насколько гуманнее там семейные отношения.

Мысли перекинулись на другое.

Было совсем недавно, за год до женитьбы, в августе тысяча восемьсот шестидесятого. В тот год, начиная с весны, он в энный раз колесил по Европам. Изъездил Италию, побывал на двух прекрасных озерах Комо и Маджоре, оттуда через Симплон махнул в Женеву. Двигался повсюду быстро, ибо был, несмотря на нескладность и излишнюю массивность фигуры, хороший ходок. Через несколько лет, женившись и путешествуя уже с женой, должен он был соизмерять свою сноровку ходока с силами довольно хлипкой Глафиры. И ему это не было в тягость, даже нравилось, что в сравнении с молодой женой он еще молодец!

А тогда в последних числах августа он отправился на остров Уайт, где была назначена встреча со старым другом Тургеневым. Иван Сергеевич дописывал на английском острове, расположенном в проливе Ла-Манш, свой роман о нигилисте. Неподалеку, на берегу того же Ла-Манша, в курортном Борнмуте (Анненков насмешливо называл его в письмах «Бурный Маус») отдыхал с семьей Герцен. Грешно было его не навестить. Они с Тургеневым отправились. Провели с Герценом два чудных денечка; удивительно, но погода на Туманном Альбионе тому способствовала, было тепло, светило солнце... Анненков, большой любитель воды, мало того, что утром и вечером купался в довольно прохладном море, так еще и нанял лодку у местных рыбаков, купил в лавке удочки и коробку песчаных червей — и немного порыбачил, взяв с собой шестнадцатилетнюю дочку Герцена Тату, скучавшую под придирчивым присмотром Натальи Александровны, неофициальной жены отца. Барышня была презабавная, нервная, порывистая. К Анненкову как-то сразу прониклась доверием. Видно было, что дома ей неуютно, с мачехой (та была законной женой друга Герцена — Огарева) не ладит, а отец в вечной работе, и ему не до нее. При этом отца она боготворила и стремилась ему подражать. Всю пойманную ими рыбу — а они наловили окуней да макрелей полное ведро — выпустила назад в море со словами «Давайте, Павел Васильевич, даруем рыбкам жизнь и свободу». На возвратном пути, как хорошо помнит Анненков, спросила: «А верно ли говорят, что я на маму похожа?» — «Кто говорит?» — «Да Тургенев сегодня сказал». — «Ну, раз Тургенев сказал, будьте уверены, что так и есть». Следующего вопроса он не ожидал: «А письма в Петербург папá просил вас отвезти?» — «Не-ет. Какие письма?» — «Еще попросит, вы ведь надежный человек, не подведете... Только, пожалуйста, не говорите папá, что я догадалась...»

Вечером они с Тургеневым должны были уезжать. Однако Иван Сергеевич уехал один, Анненкова хозяин попросил остаться для серьезного разговора. Заперлись в кабинете, Герцен ходил, Анненков сидел в кресле, слушал. Александр Иванович сказал, что он и его дело нуждаются в таких людях, как Анненков: исполнительных, верных, многознающих и в то же время не заподозренных властями в отсутствии лояльности. Спросил, хочет ли Анненков поучаствовать в «общем деле» — присылать материалы для «Колокола». «Если это не поставит под удар мою жизнь и репутацию...» — «Да я многого от вас, Павел Васильевич, не попрошу: присылайте свои наблюдения, вы ведь и в журналах свой человек, и в Английском клубе...»

На следующий день поехали в Лондон на герценовскую городскую квартиру, и там — вот когда Павел Васильевич вспомнил Тату — Герцен вручил ему довольно толстый пакет с письмами для передачи в Россию. Почтой отправлять их было нельзя из-за перлюстрации всей герценовской переписки.

Таким образом, он, Анненков, человек отнюдь не мятежного нрава, над чьей «архимандричьей физиономией» подтрунивал друг Тургенев, стал корреспондентом мятежного «Колокола», что, в общем-то, льстило его самолюбию и добавляло самоуважения. «Колокол» до реформы читали по всей империи, как говорится, и в хижине, и в царском дворце. Как же приятно было ему, всегда слегка пасовавшему перед Тургеневым, — ведь талант! большой писатель! — просить того посылать в Лондон некоторые его, Анненкова, письма — одни целиком, другие в отрывках, договорившись предварительно о «волшебной» шифровальной фразе: «Передайте нашей старице...»

Продолжалось это год, как раз до реформы. Девятнадцатого февраля тысяча восемьсот шестьдесят первого года был объявлен царский манифест «О Всемиловивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Реформа спускалась сверху, и читающая публика все меньше откликнулась на обличительные статьи «Колокола», в то время как те становились все более радикальными. Павел Васильевич видел в этом влияние «помощников» — жаждающего крови Огарева и беспощенного выдумщика и провокатора Бакунина, обоих он недолюбливал. Тираж «Колокола» уменьшился до пятисот экземпляров. Тут подоспели волнения в Польше тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Общество разделилось. Герцен безоговорочно стал на сторону поляков... Тургенев и Анненков молчали.

И тут пришло ТО письмо. От Герцена. Павел Васильевич запомнил дату — шестого августа тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Письмо, положившее конец сношениям и переписке. Больше всего Анненкова обидел и уязвил тон — тон барина, наставляющего своего холопа, по странности имеющего свой взгляд на важные вопросы современности... Герцен писал: «...мы стали глупы, глухи, без чутья», и ясно было, что эти слова обращал он вовсе не к себе, а к Анненкову. Последние два слова письма укололи в самое сердце: «...это старость». Он пишет о старости того, кто в сорок восемь лет, один из немногих среди друзей-сверстников, нашел в себе силы жениться? Тургенев, Боткин, Некрасов не женаты. Жениться на молодой, после целой жизни, проведенной наедине с собой... Жениться — и не хныкать, не ныть, а найти в себе силы и желание начать жизнь с нуля! И это старость?

Герцен об его женитьбе знал — и мог такое написать! Осколок засел в сердце, остальное, долетавшее в письмах знакомых, даже определение «посредственность», данное ему Герценом, уже не удивляло и не возмущало. Герцен за что-то ему мстил, пытался что-то доказать... ему? или самому себе? Анненков мог только догадываться о причинах. Когда-то казавшийся героем и борцом, ныне богатый барин, в комфорте живущий за границей, поучал соотечественников, как жить, и был ими недоволен. Как? Они не выступают с ним в одном строю? Они позволили себе иметь собственное мнение? Они примирились с подачкой, брошенной сверху? Так заклеим же их как предателей, отступников, собрание посредственностей. Путь с Герценом был теперь для Анненкова закрыт. Но и с такими, как Катков, лижущими властный сапог, было ему не по дороге.

Бутылка с шампанским опустела. Пора было уходить. Несколько раз мимо его укромного уголка прошмыгнула какая-то фигура, плохо видная из-за ширмы. Наконец в закуток заглянул, а потом вошел высокий худой человек в модном сюртуке, с серым, изможденным лицом, в котором Анненков узнал Некрасова. Анненков поднялся на встречу вошедшему, тот быстро проговорил:

— Извините, Павел Васильевич, я узнал у полового, что вы здесь обедаете. Решил присоединиться.

— Да я уже вроде пообедал.

— Прошу вас задержаться ненадолго, я, собственно, вечером думал расписать пульку, да вот перед игрой к вам заглянул — как к старому товарищу и советчику. Помните, лет десять тому, когда Чернышевский в мое отсутствие опубликовал «Поэта и гражданина» и цензура на нас ополчилась, я к вам обратился за советом и помощью? Вот и сейчас в этом нуждаюсь, — он помолчал и вдруг предложил: — Выпьете со мной водочки?

— Нет, увольте, на сегодня больше не ем и не пью.

Некрасов вышел на минуту — и скоро все тот же Петр, ловко поменяв на столике скатерть, принес ему на подносе стакан водки, несколько ломтей ржаного хлеба и нарезанный кружками малосольный огурец. Указав на водку, Некрасов проговорил сипловатым своим голосом:

— Обычно я перед игрой не пью, да и вообще стараюсь водку не пить, но тут... расстройство большое, Павел Васильич, вы, я полагаю, еще не слышали... — Он сел и охватил голову руками. — Я за эти несколько лет, Павел Васильич, измучился так, словно воистину через каторгу прошел. Вроде чего-чего не переживали: денег на печать «Современника» не было, цензура свирепствовала, Краевский авторов переманивал, но журнал жил, его читали, подписка росла. И вот с этого заколдованного тысяча восемьсот шестьдесят первого года, года освобождения, пошла такая свистопляска — только держись. В ноябре тысяча восемьсот шестьдесят первого умер Коля Добролюбов, ужасная потеря для России, для журнала и ужасная рана в моей душе. Он был мне как сын или брат младший... В том же году Михайлова арестовали, Михайлу Ларионыча, чудный поэт, Беранже перевел, Гейне! Талант имел и душу чистейшую. Сослали в Нерчинск, в каторгу, на рудники, пишут оттуда, что немного ему жизни осталось, а ведь нет и тридцати семи. В феврале тысяча восемьсот шестьдесят второго Иван Панаев умер, мой давний компаньон и друг, а через несколько месяцев взяли того, на ком журнал стоял, — Чернышевского и с ним вместе Александра Серно-Соловьевича, державшего важную для нас книжную лавку на Невском, какие люди, а? Обоих приговорили к каторге и вечному поселению в Сибири... Одна радость, что опубликовали мы в «Современнике» роман Николая Гаврилыча, в Петропавловке написанный, в Алексеевском равелине. Вы, поди, читали? В трех номерах за тысяча восемьсот шестьдесят третий год, чудом цензуру прошел, да и приключения с рукописью были. Вы слышали небось? Я ее потерял, когда вез на извозчике. Потом, слава тебе господи, один бедный человек, вознаграждением прельстившись, ее принес в редакцию.

Анненков сидел молча, понимая, что Некрасову нужно излить душу. Сам он «семинаристов» — Добролюбова и Чернышевского — не любил. Последнего, с его высоким вкрадчивым голосом, скромненько себя держащего — и при этом умудрявшегося сквозь препоны цензуры проводить через журнал свои радикальные взгляды, считал обманщиком, заманивающим молодежь ложными целями и посулами...

Некрасов, до того державший стакан с водкой в руке, поставил его на скатерть и продолжил, не глядя на Анненкова:

— Три года назад «Современник» уже закрывали за якобы «вредное направление». Восемь месяцев стояли. Сколько я кабинетов исходил, кому только не кланялся... Наконец начали работать — с оглядкой, конечно, с робостью, да и перьев уже тех не было. Но все же отчасти дух прежний остался. И что же теперь? Из верных источников узнал, от самого Адлерберга, министра двора. Есть план наверху закрыть «Современник», уже насовсем. Что ты будешь делать — не нравится им наше направление, видно, все журналы хотят подравнять под «Русский вестник» Каткова. — Он поднял глаза. — Как думаете, Павел Васильич, закроют?

Анненков помолчал, словно обдумывая сказанное Некрасовым. На самом деле мог бы ответить сразу.

— Закроют, Николай Алексеевич, даже не сомневайтесь. Обязательно закроют. Нынче у правительства все козыри на руках.

— Вот и я думаю, что закроют. Но бороться буду, буду бороться до последнего — как та мать, что телом своим ребенка от пули закрыла³. — Взял стакан, быстро вылил его содержимое в рот, тяжело закашлялся. Крякнул, закусил корочкой с кружком огурца и взглянул на Анненкова. — Говорят, вы, Павел Васильич, удачно женились. Счастливы?

Анненков выдержал пытливый взгляд, глаз не отвел.

— Счастлив, Николай Алексеич. — Про болезнь Глафиры он говорить не хотел.

— А я все по бабам, то одна, то другая. С Авдотьей расстался...

До Анненкова доходили слухи, что Авдотья Панаева после смерти законного мужа, так и не дождавшись предложения от Некрасова, вышла замуж за молодого сотрудника редакции. Некрасов об этом умолчал. Оглянувшись по сторонам и понизив голос, словно боялся тайных свидетелей, он зашептал:

— Ночи не сплю, Павел Васильич, верите ли? Страх такой иногда находит, сердце берет в тиски. Читали «Записки из Мертвого дома» во «Времени»?⁴ Вот она, каторга, какова. Не мне с моим здоровьишком ее выдержать... — Он безнадежно махнул рукой и поднялся. — Пойду, Павел Васильич, — ждут меня, там партия составила. — Запомнилась фраза, сказанная на прощание с выражением несказанной муки: «Когда играешь — не так чувствуешь ужас жизни... и свое ничтожество». Он протянул Анненкову худую жилистую руку, руку чернорабочего, а не писателя, и покинул закуток.

* * *

Приехав домой и умывшись, Анненков первым делом прошел на половину Глафиры. Она спала, рядом спала ночная сиделка, ее вязанье валялось на полу. Он наклонился над женой — и услышал слабый голос: «Ты, Павлуша?» — «Я... Не спишь, Глафирушка?» — «Уже выспалась, теперь представляю картины». — «Какие?» — «Когда я была счастлива, — она поправилась, — когда мы с тобой были счастливы». Он подумал, что со дня их женитьбы у него было больше счастья, чем во всю прошлую жизнь. Обвенчавшись, они сразу поехали в его имение Чирьково, что под Симбирском. Ехали на пароходе по Волге из Твери до Симбирска, по июньскому припеку, с ветерком. В поволжских городах — Твери, Ярославле, Костроме — сходили на берег, пообедали в лучших домах, вплоть до губернаторских: у Павла Васильевича было обширное знакомство. А в самом имении тоже было хорошо — простая деревенская жизнь среди вековых сосен, рядом с рекой... Он блаженствовал. Летом следующего года отправились в гости к старшей сестре Глафиры, на Полтавщину, в деревеньку Туровка, где расположилось имение Ульяны Марковичевой. Близкой воды там не было, зато какие вокруг простирались степи, с какими ночными запахами, прилетавшими ближе к ночи, таких душистых ночей он не помнит и в Италии! Глафира свиделась там, кажется, со

³ В 1866 году, желая сохранить журнал, Некрасов в Английском клубе прочитал оду в честь Муравьева-Вилenskого (Муравьева-Вешателя), подавлявшего Польское восстание. Ода не помогла, в том же году «Современник» был окончательно закрыт.

⁴ Автор «Записок из Мертвого дома» Федор Достоевский был осужден и сослан на каторгу за чтение в кружке петрашевцев «Письма к Гоголю» Виссариона Белинского. Павел Васильевич Анненков, в 1847 году сопровождавший Белинского на силезский курорт Зальцбрунн (вместе с Тургеневым) для лечения от чахотки (вполне безнадежного), присутствовал при написании этого письма.

всеми своими родственниками: Кочубеями, Тарковскими, Галаганами... Сказать по правде, слишком было там многолюдно. В этом они с Глафирой сходились. При наезде гостей часто от них прятались, убегали в сад.

Глафира между тем что-то прошептала, он наклонился и услышал: «Помнишь, Павлуша, как мы ругались в Эмсе после дождя?»

Ну как же, конечно, он помнил. Эмс — было первое место в их заграничной поездке, где погода наконец-то установилась и после берлинских холодов и дрезденской робкой весны их встретили майское цветение, пение птиц, райское тепло. Они поселились на княжеской вилле с превосходным видом из окна — Анненков не поскупился, платил хозяевам по три талера в сутки — за вид и комфорт. Однажды, когда они возвращались с источника (оба пили на курорте лечебную минеральную воду), начался дождь, вроде и не сильный, но оба промокли, так как вышли без зонтов. Происшествие вызвало смех у обоих: мокрое платье облепило тело, волосы торчали в беспорядке. Он первый начал ее поддразнивать: «Ну и мокрая же ты курица», она, верная своему характеру, кинула ему в ответ: «А ты жирный кот-котище». — «Курица, курица, мокрая курица», — он от нее убегал, она его настигала, била маленьким кулачком и кричала прямо в уши: «Кот, котикша, жирный кот». Оба смеялись. Оба по-детски радовались.

И вот Глафира вспомнила этот эпизод как счастье.

Ночью Анненкову не спалось: мешали впечатления дня. В тяжелом полусне грездились видения: фигуру улыбающегося доктора Боткина сменял комитетчик, что-то говоривший о земельной реформе, а подавальщик Петр слушал его, лукаво прищурившись, на них наплывала тень Герцена, грозившая обоим пальцем, за нею появлялся Некрасов с искаженным лицом и пистолетом у виска, двое стояли у двери в зловонную каторжную нору, один из них — Достоевский — из нее выходил, другой — Чернышевский — входил... Тоска сжимала сердце; видно, сегодня он не заснет до утра. Неожиданно пришла спасительная мысль: надо уезжать. Здесь нечего больше делать. Да и доктор сказал, что Глафира нуждается в теплом климате. А уж если пойдут детки (сладкая на это надежда жила в Павле Васильевиче)⁵, пусть они растут и учатся в стране более упорядоченной и цивилизованной, чем его бедная родина. Успокоенный этой мыслью, Анненков повернулся на другой бок — и заснул сном праведника.

⁵ У Анненковых родилось двое детей: дочь Вера (1867—1956) и сын Павел (1869—1934). Всю вторую половину жизни супруги прожили за границей: в Берлине, Дрездене, Баден-Бадене.